

АНДРЕЙ СЕМЕНОВИЧ НЕМЗЕР

**«Красное Колесо» Александра Солженицына:
Опыт прочтения**

Серия «Диалог»

В книге известного критика и историка литературы, профессора кафедры словесности Государственного университета — Высшей школы экономики Андрея Немзера подробно анализируется и интерпретируется заветный труд Александра Солженицына — эпопея «Красное Колесо». Медленно читая все четыре Узла, обращая внимание на особенности поэтики каждого из них, автор стремится не упустить из виду целое завершеного и совершенного солженицынского эпоса. Пристальное внимание уделено композиции, сюжетостроению, системе символических лейтмотивов. Для А. Немзера равно важны «исторический» и «личный» планы солженицынского повествования, постоянное сложное соотношение которых организует смысловое пространство «Красного Колеса». Книга адресована всем читателям, которым хотелось бы войти в поэтический мир «Красного Колеса», почувствовать его многомерность и стройность, проследить движение мысли Солженицына — художника и историка, обдумать те грозные исторические, этические, философские вопросы, что сопутствовали великому писателю в долгие десятилетия непрерывной и вдохновенной работы над «повествованием в отмеренных сроках», историей о трагическом противоборстве России и революции.

От автора

18 ноября 1936 г. студент-первокурсник физико-математического факультета Ростовского университета Александр Солженицын решил, что он должен написать большой роман о русской революции. Будущему великому писателю еще не исполнилось восемнадцати лет. Задуманная им книга, обернувшаяся в итоге десятью томами и получившая название «Красное Колесо. Повествование в отмеренных сроках», была завершена в 1989 г. В 1991-м ее полная версия открылась читателю — в 19-м и 20-м томах двадцатитомного Собрания сочинений Солженицына (Вермонт — Париж: YMCA-press) был опубликован «Апрель Семнадцатого» с присовокуплением «Конспекта ненаписанных Узлов».

В те полвека с лишком, что разделили замысел и его воплощение, вместились: война; арест, тюрьма и следствие; лагеря и ссылка (которая должна была стать пожизненной); одоление смертельного недуга; беспрестанное потаенное писательство (в том числе создание первых редакций романа «В круге первом»); прорыв немоты (публикация в № 11 «Нового мира» за 1962 г. рассказа «Один день Ивана Денисовича»); всероссийская слава (хотя в отечестве удалось напечатать еще всего лишь четыре рассказа) и слава всемирная (8 октября 1970 г. Солженицыну была присуждена Нобелевская премия по литературе); противоборство со свирепым и бессовестным партийно-советским государством; напряженная и взрывоопасная работа над «опытом художественного исследования» «Архипелаг ГУЛАГ»; его публикация (первый том увидел свет в Париже 28 декабря 1973 г.), оказавшая огромное воздействие на ход мировой истории в последние десятилетия XX в.; изгнание из России (13 февраля 1974 г. арестованный накануне писатель был насильственно доставлен в Германию); жизнь на чужбине; многие тома художественных и публицистических сочинений.

По возвращении в Россию (1994) Солженицын продолжал вносить исправления в текст «Красного Колеса» — окончательная его редакция представлена в выходящем ныне тридцатитомном Собрании сочинений, которое издательство «Время» открыло публикацией тома «Рассказов и крохоток» (напоминая, что первым услышанным миром и преобразившим мир словом Солженицына был рассказ «Один день Ивана Денисовича») и двух томов «Августа

Четырнадцатого», за которыми последовали и три остальных Узла «повествования в отмеренных сроках». Так случилось, что представление общественности начальных книг Собрания пришлось на 18 ноября 2006 г. — со дня, когда ростовский студент различил первые неясные контуры своего заветного труда, прошло ровно семьдесят лет. Все эти годы были временем «Красного Колеса», все написанное Солженицыным, от первых литературных опытов, лишь сравнительно недавно ставших достоянием читателя, до «Архипелага...», переведенного на множество языков и хотя бы по названию известного миллионам людей, обретающихся по всей Земле, все жизненное дело нашего великого соотечественника (и совсем недавно — современника) существует при свете «повествования в отмеренных сроках» — трагического эпоса о победе революции над Россией.

Едва ли в истории литературы найдется другой пример столь страстной верности художника своему замыслу, столь неуклонного движения к некогда счастливо угаданной цели. Уже одно это обстоятельство должно было бы заставить читателей отнести к «Красному Колесу» с особым вниманием. Если мы по-настоящему, а не ритуально ценим «Один день Ивана Денисовича» и «Матрёнин двор», «В круге первом» и «Раковый корпус», «Правую кисть», «Как жаль» и «Пасхальный крестный ход», крохотки и «Архипелаг ГУЛАГ», если ищем и находим в этих и других произведениях Солженицына новые и новые (подчас неожиданные) большие смыслы, если видим в их авторе великого писателя (о тех, кто мыслит на сей счет иначе, здесь речь не идет), то, кажется, невозможно игнорировать труд, которому он посвятил всю свою жизнь.

Увы, возможно. Мы вправе указать на ряд исследований и эссе, в которых глубоко и проницательно характеризуются те или иные эпизоды и персонажи «Красного Колеса», его «приемы», авторская позиция, перекички с литературной (исторической, философской, публицистической) традицией, но едва ли кто-то осмелится назвать «Красное Колесо» книгой *прочитанной*. Не осмелится — и будет прав, хотя такое определение не только допустимо, но и естественно (при понятных и отнюдь не этикетных оговорках о неисчерпаемости художественного смысла) в разговоре о «Евгении Онегине», «Мертвых душах», «Воине и мире» или «Братьях Карамазовых».

Здесь не место для выяснения и обсуждения совокупности разнородных причин сложившейся ситуации — это тема для отдельного (трудоемкого и очень нерадостного) исследования. Могу лишь заметить, что, на мой взгляд, Солженицына всегда читали *слишком быстро*. Это относится и к тем сочинениям, что были напечатаны в «Новом мире» (далеко не все читатели могли да и хотели разглядеть за «злободневной» составляющей «Одного дня...», «Матрёнина двора», «Случая на станции Кочетовка», «Для пользы дела» и «Захара-Калиты» глубинную их суть), и к тем, что ходили в самиздате (еще до высылки писателя его «легальной» прозе стал навязываться «самиздатский» статус; с 14 февраля 1974 г., когда Главное управление по охране государственных тайн издало приказ об изъятии произведений Солженицына из библиотек, пять пробившихся в советскую печать рассказы окончательно сравнялись с безусловно запретными сочинениями, уже изданными и издававшимися позднее на Западе). «Красное Колесо» оказалось в особенно тяжелом положении — расширенную редакцию «Августа Четырнадцатого» и «Октябрь Шестнадцатого» (опубликованы в 11—14-м томах вермонтского собрания в 1983—1984 гг.) было не только опасно читать в России, но они были и почти недоступны. То, что мне выпало прочесть их вскоре по выходе, считаю удачей, случайной и счастливой. Опубликованный в Вермонте же в 1986—1988 гг. (тома 15—18) «Март Семнадцатого» я «добыл» уже в новую эпоху. Подчеркну: я был московским гуманитарием, то есть принадлежал к кругу, в котором неподцензурные тексты циркулировали гораздо свободнее и активнее, чем в любом ином. Публикационное наводнение конца 1980-х — начала 90-х годов тоже худо споспешествовало вдумчивому чтению. Одновременно публике стало доступным великое множество сочинений весьма разных авторов и весьма разного качества. Понятное (очень человеческое) желание наверстать упущенное за долгие годы строго дозированного советского рациона и приобщиться разом *ко всему* (позднее трансформировавшееся в равнодушие к любой серьезной словесности), господствующая в обществе установка на «плюрализм любой ценой» и резко ускорившийся бег истории сильно мешали сделать осмысленный выбор. Четыре Узла «Красного Колеса» на протяжении четырех лет печатались в пяти журналах («Август Четырнадцатого» — «Звезда», 1990, № 1—12; «Октябрь Шестнадцатого» — «Наш современник», 1990, № 1—12; «Март Семнадцатого» —

«Нева», 1990, № 1—12; «Волга», 1991, № 4—6, 8—10, 12; «Звезда», 1991, № 4—8; «Апрель Семнадцатого» — «Новый мир», 1992, № 3—6; «Звезда», 1993, № 3—6). Требовалась не только добрая воля, но и изрядный запас энергии, чтобы собрать (и тем более проштудировать) эту рассыпанную громаду. К сожалению, и появление репринтного издания «Красного Колеса» (М.: Воениздат, 1993—1997) существенно картины не изменило. «Повествование в отмеренных сроках» прочли далеко не все, кому его адресовал автор, а слишком многие из тех, кто его все же прочел, сделали это бегло, словно бы заранее зная, что в десяти томах сказано.

Между тем поэтический мир «Красного Колеса» организован совсем не просто, а глубокие, неоднозначные, иногда меж собой конфликтующие размышления Солженицына (о мире и месте в нем человека, общем ходе истории и его трагическом изломе в начале XX в., России и Европе, мучительной и нерасторжимой связи нашего прошлого и нашего будущего и т. д.) куда как далеки от расхожих и «удобных» для недобросовестной полемики штампов, которыми они то и дело подменяются. Неспешно и пристально читать «Красное Колесо», следить за движением авторской мысли, фиксировать неожиданные мотивные переключки, которые бросают новый свет на «понятные» эпизоды, всматриваться в лица и разгадывать души множества неповторимых персонажей, вслушиваться в мелодию солженицынской фразы, открывать в тексте, только что казавшемся тебе знакомым и прозрачным, новые смысловые обертоны — настоящая радость. Недостижимая, как и при общении с другими великими книгами, без достаточно напряженной интеллектуальной и душевной работы.

Как-то в середине 90-х остроумный коллега, одарив меня широкой улыбкой, сообщил: «Есть свежий анекдот. Про вас. Короткий». И подмигнув, спросил: «Рассказать?» Я не стал скрывать понятного (думаю, простительного) любопытства. И услышал: «А. Н. прочитал пять раз подряд “Красное Колесо”». Пришлось разочаровать собеседника (скорее всего он же был автором этой, притворяющейся анекдотом, в общем удачной эпиграммы). Признался я, что столь впечатляющих результатов, увы, не достиг. Но готов в этом направлении работать. Не знаю, что бы сказал сейчас. Потому что понятия не имею, сколько раз перечитывал каждый из Узлов (наверно, «Апрель...»), о котором писал позже всего, — больше, чем три остальных, ибо обращаться к нему

приходилось и когда работал с «Августом...», «Октябрём...», «Мартом...»). Не считал. Так ведь и с Державиным, Жуковским, Пушкиным, Тютчевым, Гоголем, Лермонтовым, Некрасовым, Гончаровым, Тургеневым, Островским, Фетом, Достоевским, Толстым, Чеховым, Анненским, Блоком, Ходасевичем, Пастернаком, Мандельштамом, Булгаковым, Набоковым и много кем еще (с весомой частью русской литературы) — та же самая история. Вне зависимости от того, занимался я тем или иным художником специально или нет, люблю его очень сильно — как, например, Солженицына — или «не очень».

Да, я много, используя навыки историка русской литературы, азартно и с удовольствием читал Солженицына (разумеется, не одно «Красное Колесо»). И уверен, что буду его перечитывать и по выходе этой книги. Мне это важно. Думаю, не мне одному. Именно поэтому я счел возможным поделиться своим опытом читателя «повествования в отмеренных сроках» с теми, кому дороги (или, скажем аккуратнее, интересны) Солженицын и дело его жизни.

Предлагаемая вашему вниманию книга, как и опубликованные в выходящем Собрании сочинений сопроводительные статьи к четырем Узлам, из которых она сложилась, не могут и не должны рассматриваться как историко-филологическое исследование. Хотелось иного — провести читателя по тем лабиринтам солженицынской поэтической мысли, что не отпускали и не отпускают меня уже не второе десятилетие. Это именно «опыт прочтения» или, если угодно, путеводитель по огромному миру «Красного Колеса».

Отсюда ряд особенностей моего сочинения, неуместных в работе научной, но здесь, кажется, оправданных жанровой задачей. Так, за кадром остаются многие весьма интересные и требующие тщательного рассмотрения проблемы. Например, вопрос о работе писателя с источниками — официальными документами, газетами, эпистолярием, мемуаристикой, как известными прежде, так и впервые выводимыми на свет автором «Красного Колеса». Или анализ весьма пестрого и своеобразного лексического состава повествования, особенностей его синтаксиса и пунктуации. Или обследование переходов от авторской к несобственно прямой речи, постоянной и прихотливой смены точек зрения (об этом говорится и меньше, и случайнее, и огрубленнее, чем следовало бы). Да и сюжетосложение, композиция, характерология, система символических лейтмотивов,

реминисценции классики и словесности Серебряного века в монографии, адресованной профессионалам, описывались и интерпретировались бы более строго и дифференцированно. И вследствие того — суше, чего мне в этой книге хотелось избежать. По той же причине я сознательно избегал ссылок на работы коллег, в том числе высоко ценимые и сказавшиеся на моих размышлениях о «Красном Колесе». Не только полемика, но и уточнение позиций (даже сходные наблюдения и выводы, как правило, получают у разных авторов далеко не тождественные огласовки) сильно отвлекают от сути дела — реальности художественного текста и его истолкования. Я предлагаю свой опыт прочтения солженицынского эпоса — о том, как понимают «Красное Колесо» (отдельные его Узлы, сюжетные линии, поэтический строй, историческую и философскую концепцию) другие историки литературы и критики, читатель при желании сможет узнать, обратившись к их трудам, перечисленным в замыкающем книгу списке литературы.

Наконец, но не в последнюю очередь избранный мной жанр обусловил композицию книги. В пяти главах последовательно, один за другим, анализируются четыре Узла и Конспект ненаписанных Узлов. Мы движемся по тексту «Красного Колеса», наблюдая не только ход истории (объект Солженицына), но и смысловое возрастание самого повествования. Разумеется, обойтись без возвращений к уже прочитанному было невозможно. Как и без заходов (не частых, но порой крайне необходимых) в текстовое будущее. Загадка, которой Варсонофьев озадачивает уходящих на фронт Саню и Котю («Август Четырнадцатого»), получает разгадку лишь при второй встрече молодого героя со «звездочётом» («Апрель Семнадцатого»). Это случай особенно яркий и наглядный, но далеко не единственный. Не избегая повторов вовсе (истолкованный ранее эпизод в новом, расширившемся, контексте приобретает несколько иную смысловую окраску, изменения персонажей заставляют иначе оценивать их прошлое), я все же стремился идти от «начала» к «концу». В частности, потому довольно подробно анализировал зачинную главу «Августа...», финальную — «Апреля...» и Пятый Эпилог — формально не включенную в состав «повествования», но значимо в нем присутствующую трагедию «Пленники». Такой подход не подразумевает предварительного «общего взгляда» на рассматриваемое (постигаемое) нами сочинение. Его неповторимая статья, его мировоззренческие основы, его поэтика, его органические

связи с большой литературной традицией, целым солженицынского космоса и судьбой автора должны раскрываться читателю постепенно, становясь — по мере движения от Узла к Узлу — все более отчетливыми.

Ограничусь лишь двумя тезисами общего характера — оба будут не раз конкретизироваться и уточняться в дальнейшем. Во-первых, читая «Красное Колесо», в равной мере важно все время помнить и об «отдельности» и «особости» каждого из четырех Узлов (имею в виду не только и не столько самоочевидное различие «исторического материала», но изменения художественного языка, жанровые модификации, сказывающиеся на колеблющемся балансе «личного» и «исторического», а потому — на сюжетосложении и композиции), и о смысловом единстве целого, общей перспективе повествования, его художественной завершенности. Последнему вовсе не противоречит изменение первоначального авторского замысла — остановка рассказа о русской революции на «Апреле Семнадцатого». Эта проблема подробно рассматривается в IV и V главах предлагаемой книги.

Во-вторых, Солженицын твердо убежден, что революция разрушает не один государственный строй, но истинный миропорядок. Это бунт против Бога; главная цель революции — низвержение и унижение свободного человека, созданного по образу и подобию Божьему. Все остальное — сокрушение государства, хозяйства, общества, культуры — промежуточные этапы на пути к полному порабощению человека, уничтожению личности как таковой. Революция вершится людьми, забывшими Бога (и потому не ведающими, что творят, какую участь себе же выковывают), но и противостоят революции тоже люди. Те, в ком живы нравственные начала, те, кто угадывает свое назначение, те, кто, оставаясь на своем месте, хранят верность долгу и высшим заветам. Борьба добра и зла идет не только в политической сфере, но и — прежде того — в человеческих сердцах. Завораживающе подробно реконструируя историческую реальность 1914–1917 годов и вписывая в нее многочисленные линии «личных» — вымышленных — сюжетов, Солженицын выстраивал единую книгу, ищущую ответы на три теснейшим образом связанных мучительных вопроса:

Почему революция победила Россию?

Что значила победа революции для нашей страны и всего мира?

Сумеет ли мы (или наши дети и внуки) остановить всесокрушающий безжалостный раскат Красного Колеса?

Дабы ответить на эти вопросы, дабы обрести вновь историю и Россию, дабы наметить путь в будущее (а об этом Солженицын думал всю жизнь), надо, не игнорируя сферу политической истории вовсе, над ней возвыситься. Что и происходит в «Красном Колесе», где человеческие истории постоянно сопрягаются с историей человечества, ибо разыгрываются в едином — не нами созданном — мире.

Мне кажется, что важными ориентирами при чтении «Красного Колеса» могут послужить два небольших фрагмента этого повествования. В одном речь идет об истории как органической части истинной жизни, в другом — о самой жизни, которая никогда не может вполне подчиниться сколь угодно остервенелому злу.

История растёт как дерево живое. И разум для неё топор, разумом вы её не вырастите. Или, если хотите, история — река, у неё свои законы течений, поворотов, завихрений. Но приходят умники и говорят, что она — загнивающий пруд, и надо перепустить её в другую, лучшую, яму, только правильно выбрать место, где канаву прокопать. Но реку, но струю прервать нельзя, её только на вершок разорви — уже нет струи. А нам предлагают рвать её на тысячу саженей. Связь поколений, учреждений, традиций, обычаев — это и есть связь струи.

(A-14: 42)^Ш

Так наставляет отправляющихся на войну юношей «звездочет» Варсонофьев, чей голос здесь сливается с авторским. А вот о чем думают один из этих юношей (Саня Лаженицын) и десять дней назад впервые встреченная им девушка (Ксения Томчак), сразу поверившие, что они — суженые. Так счастливо и полно поверившие, что их мысли (или речи?) нельзя разделить. Как и отделить от сплавившихся воедино голосов персонажей (чьи прототипы — родители автора) объемлющий их голос самого Солженицына:

Война, — но от любви, от веры в продолжение нашей жизни — такая крепость!

Есть ли что-нибудь на свете сильнее — линии жизни, просто жизни, как она сцепляется и вяжется от предков к потомкам?

(A-17: 156)

Многие положения этой книги оформились в ходе подготовки и чтения спецкурса о творчестве Солженицына в Тартуском университете (2001) и общих историко-литературных курсов в Российской академии театрального искусства (ГИТИС) и в Государственном университете — Высшей школе экономики (отделение политической и деловой журналистики). Некоторые разработанные в книге темы легли в основу докладов, прочитанных на Международной конференции к 90-летию А. И. Солженицына «Путь А. И. Солженицына в контексте большого времени» (Москва, 2008), Лотмановском семинаре (Тарту, 2009), Международном коллоквиуме «Наш современник Александр Солженицын» (Париж, 2009). Я признателен всем коллегам и студентам, что слушали мои лекции и доклады, задавали вопросы, участвовали в обсуждениях.

Моя книга не была бы написана, если бы на протяжении долгих лет мне не довелось разговаривать о Солженицыне (конечно, не только о «Красном Колесе», но и о других его сочинениях, его судьбе, его миссии, его месте в истории России и русской литературы) с очень разными людьми. В первую очередь, с моими родителями — Лидией Петровной Соболевой (1924–1998) и Семеном Ароновичем Немзером (1923–2007). От них я узнал о том, что есть такой писатель; они предложили то ли восьми-, то ли девятилетнему мальчику прочитать рассказ «Захар-Калита» (*«Ведь тебе интересна история?»*); с ними быстро, страницы передавая (а как иначе?) читал самиздатскую машинопись романа «В круге первом»; с ними переживал ужас от высылки Солженицына и вырезал из газет лживые заметки, клеймящие «литературного власовца» (сходный комплект вырезок отец собрал о «деле Пастернака»; сохранились оба); с ними слушал по «Немецкой волне» сквозь треск глушилок главы «Архипелага...»; с ними (особенно подолгу с мамой) обсуждал уже в другую эпоху «Красное Колесо».

Я сердечно благодарен другим моим собеседникам (иногда — резким и въедливым оппонентам), давним и недавним, утратившим всякую со мной связь и сохранившим по сей день добрые отношения, ушедшим — А. Л. Агееву, Б. И. Берману, С. И. Липкину, А. А. Носову, А. М. Пескову, — и здравствующим — П. М. Алешковскому, А. Н. Архангельскому, Е. Г. Бальзамо (Орловской), Л. В. Бахнову, М. В. Безродному, В. М. Белоусовой, С. Г. Боровикову, А. М. Гладковой, М. В. и А. Б. Голубовским, Г. Н. Гордеевой, А. В.

Дмитриеву, А. Л. Зорину, Н. Н. Зубкову, А. А. Ильину-Томичу, В. Я. Калныньшу, И. М. Каминскому, Е. А. Кантор, Т. Ю. Кибирову, Л. Н. Киселевой (кроме прочего, по ее настоятельной инициативе в 2001 году я читал спецкурс о Солженицыне в Тартуском университете), М. А. Колерову, С. П. Костырко, Р. Г. Лейбову, О. А. Лекманову, И. А. Лепихову, И. В. Машковской, Г. И. Медведевой, В. К. Мершавко, Г. Л. Миксон (в ее киевской квартире выпало читать «В круге первом»), В. А. Мильчиной, А. А. Немзер, Ж. Нива, А. Л. Осповату, Н. Г. Охотину (благодаря которому я познакомился с двухтомным «Августом Четырнадцатого» и «Октябрем Шестнадцатого»), Б. Н. Пастернаку, Е. Н. Пенской, Л. Л. Пильд, А. А. Поливановой-Баранович, К. М. Поливанову, В. Ю. Потапову, О. А. Проскурину, Н. А. Рагозиной, К. Ю. Рогову, А. И. Слаповскому, Л. И. Соболеву, М. Ю. Соколову, Н. П. Соколову, Е. Н. Солнцевой, И. З. Сурат, Р. Темпесту, Т. Л. Тимаковой, Е. В. Харитоновой, М. О. Чудаковой, С. И. Чупринину, Е. А. Шкловскому, Е. Я. и А. Д. Шмелевым, Д. В. Шушарину, Т. Н. Эйдельман.

Книга, как было сказано выше, выросла из сопроводительных статей к четырем Узлам «Красного Колеса» в тридцатитомном Собрании сочинений. Александр Исаевич и Наталия Дмитриевна Солженицыны читали первоначальные варианты статей. Статья об «Апреле Семнадцатого» была завершена уже после смерти Александра Исаевича; с ней работала только Наталия Дмитриевна. Их доброжелательные, конструктивные и точные замечания я по мере разумения стремился учесть при доработке статей и складывании книги. Не могу найти надлежащих слов, чтобы выразить переполнявшее при всех наших беседах и навсегда оставшееся со мной чувство восхищенной благодарности автору и первому редактору «повествования в отмеренных сроках» — благодарности за мудрые и стимулирующие мысль советы, снисходительность к моим промахам, высокое доверие, одарившее меня счастьем работы над истолкованием «Красного Колеса».

Глава I

Она уже пришла: «Август четырнадцатого»

Четыре Узла «Красного Колеса» устроены весьма различно, но, выявляя и истолковывая неповторимость каждого из них, мы не должны игнорировать общность смыслового рисунка «повествования в отмеренных сроках», единство организующих всю десятитомную эпопею художественных принципов. Принципы эти естественным образом обнаруживаются в Узле Первом — «Августе Четырнадцатого». Здесь Солженицын не только завязывает главный исторический сюжет (утверждая необходимость именно такой завязки!), но и вводит нас в свой поэтический мир, предлагает те «правила», руководствуясь которыми мы сможем приблизиться к его заветной мысли, понять, с какой вестью писатель к нам обращается. Приступая к знакомству с «Августом Четырнадцатого», едва ли не всякий читатель испытывает разом два противоборствующих чувства, которые в той или иной степени сохраняются (должны сохраняться!) и при дальнейшем чтении «Красного Колеса». С одной стороны, могучий напор крайне разнообразного и сложно организованного материала рождает мысль о хаотичности истории; с другой — осязательно властное (хотя порой и скрытое) присутствие воли художника стимулирует наше стремление к поискам общего смысла множества «разбегающихся» историй.

В «Августе Четырнадцатого» (как и в «Красном Колесе» в целом) нет «случайностей», как нет самодостаточных персонажей, эпизодов, деталей, символов. Каждый фрагмент текста не раз отзовется в иных точках повествования, иногда отделенных от него десятками глав и сотнями страниц. Солженицын противостоит энтропии не только как историк и философ, но и как художник — самим строем своей книги о судьбе сорвавшейся в хаос России. Важно понять, однако, что писатель сознательно избегает легких путей, мнимо выигрышного упрощения постигаемой им (и нами) реальности, навязывания однозначных концепций. Солженицын строит свой поэтический мир, рассчитывая на внимательного, памятливого и думающего читателя. В такого читателя он верит, а вера эта подразумевает высокую требовательность.

Обилие весьма подробно охарактеризованных персонажей; невозможность с ходу (пожалуй, не только с ходу) отделить сквозных героев от эпизодических; резкие пространственные переносы действия; экскурсы в прошлое (как в индивидуальные или семейные предыстории, так и в историю России; особенно важно здесь огромное отступление «Из Узлов предыдущих», посвященное Столыпину и императору Николаю II — 63–74); предположения о будущем (например, мысли Самсонова о возможности новых поражений и возобновлении после них революционной смуты — 48); переходы от привычного «романного» повествования (как правило, осложненного несобственно-прямой речью, что втягивает читателя в душевно-идеологическое поле того или иного персонажа, заставляет на время в большей или меньшей мере признать его «частичную правоту») к главам «экраным» и построенным на коллаже документов; случайные (не предполагающие сюжетного развития, но с мощной психологической и обобщающе-символической нагрузкой!) встречи героев (например, Саши Ленартовича с генералом Самсоновым, которому вскоре предстоит умереть — 45) — все эти (и многие иные) зримые знаки «хаотичности» на самом деле сигнализируют вовсе не о бессмысленности происходящего, но о скрытом от обыденного сознания большом смысле как национальной (и мировой) истории, так и всякой человеческой судьбы.

Об иррациональности истории говорит уходящим на войну юношам «звездочет» Варсонофьев, предостерегая от наивных и опасных попыток вмешательства в ее таинственный ход (который сравнивается с ростом дерева и течением реки), но он же, в том же самом разговоре утверждает: «Законы лучшего человеческого строя могут лежать только в порядке мировых вещей. В замысле мироздания. И в назначении человека». Если так, то «порядок мировых вещей» (отнюдь не равный бушующему хаосу, страшное высвобождение которого и описывает Солженицын в «Красном Колесе»!) существует. И ставит перед каждым человеком некую задачу, таинственно указывает на его назначение, разгадать которое, однако, еще сложнее, чем загадку, ответ на которую не дается Сане и Коте, хотя синоним искомого слова был произнесен всего несколькими минутами раньше («Всякий истинный путь очень труден <...>. Да почти и незрим»). Будущим воинам только кажется, что Варсонофьев меняет темы беседы, на самом деле он все время ведет речь об одном и том же. И свое назначение, и ту «справедливость, дух которой

существует до нас, без нас и сам по себе», и мерцающий в народной загадке поэтический образ (назван он будет лишь в завершающем Узле — А-17: 180; на его особую значимость указывает итожащая главу, уже не Варсонофьевым произнесенная пословица — «КОРОТКА РАЗГАДКА, ДА СЕМЬ ВЁРСТ ПРАВДЫ В НЕЙ») необходимо «угадать». И это позволит хоть в какой-то мере приблизиться к «главному вопросу», о котором так печется Котя и на который, по слову Варсонофьева, «и никто никогда не ответит».

Не ответит — лично, ибо «на главные вопросы — и ответы круговые» (42). Что не отменяет, а предполагает поиск своего назначения в мире, противостояние искушениям (легким и лгушим ответам как на ежедневно встающие вопросы, так и на вопросы всемирно исторического объема), обретение и сохранение душевного строя. Все это возможно лишь в том случае, если иррациональность истории (непостижимость ее хода для отдельного ума, способность истории опровергать, отвергать или видимо принимать навязываемые рецепты, дабы потом отмщать за них сторицей) не отождествляется с фатальной бессмысленностью. Если хаос (в частности, тот, что охватил XX веке не одну только Россию) не приравнивается к естественному состоянию мира. Если осознание сложности бытия («Кто мало развит — тот заносчив, кто развился глубоко — становится смиренен» — 42; еще одна реплика Варсонофьева) и способность слышать «разные правды»^[2] не приводит к отказу от стремления к собственно правде, от нравственного выбора, требующего реализации в конкретном действии.

Такое понимание истории и человека не могло не сказаться на художественной логике «повествования в отмеренных сроках». Многогеройность необходима Солженицыну не только для того, чтобы представить как можно больше социокультурных типажей, обретавшихся в Российской империи накануне ее катастрофы (хотя эта задача, разумеется, важна^[3]), но в первую очередь для того, чтобы выявить разнообразие человеческих *личностей*, оказавшихся втянутыми в исторический процесс, разнообразие их реакций на страшные вызовы времени, обнаружить несходство в сходном (человек зависит от своего происхождения, семьи, воспитания, рода деятельности, образования, но изображенные Солженицыным «крестьяне», «генералы» или «революционеры» думают, чувствуют и действуют отнюдь не по каким-то общим «крестьянским», «генеральским» или «революционерским» схемам) и неожиданное внутреннее

тождество при нагляднейших различиях (разнонаправленные действия либо бездействия всех участников исторической трагедии — от Государя до Ленина, от генералитета до мужиков и фабричных — обеспечивают ее чудовищный финал). Личные истории персонажей не «дополняют» большую историю (и тем более — не отвлекают от нее), но объясняют, почему она в итоге приняла именно такое течение.

«Хаотичность» и «мозаичность» запечатлеваемых Солженицыным событий подчинена скрытой мощной логике. Каждый из Узлов «Красного Колеса» — тщательно и точно выстроенная книга, где сцепления «случайных» событий и переключки подчас далеко друг от друга отстоящих мотивов образуют концептуально нагруженный, допускающий в Узлах последующих (в частности, ненаписанных) развитие, усложнение и переосмысление, но художественно завершенный сюжет. Обдумывая и выстраивая «Красное Колесо», Солженицын знал, почему его заветный труд должен открыться изображением первых дней Первой мировой, а завершиться событиями 1945 года (согласно конспекту «На обрыве повествования» — ЭПИЛОГ ПЯТЫЙ).

Все события (как «личные», так и исторические) «Августа Четырнадцатого» должно видеть в тройной перспективе: во-первых, собственно Первого Узла; во-вторых, четырех Узлов (то есть осуществленного «повествования в отмеренных сроках»); в-третьих, первоначального (двадцать Узлов) замысла, отблески которого не раз возникают в тексте. С особой отчетливостью эта тройная перспектива прорисовывается в разговоре, который ведут в Грюнфлиссском лесу выходящие из окружения Воротынцев и Ярик Харитонов. Разговору предшествуют грустные воспоминания Воротынцева о прежней жизни с Алиной и предположения о ее безутешном горе в случае гибели мужа.

Впрочем, всё проплывало и было действительно лишь на случай, если умрешь. А я...

— ...Я-то ничем не рискую, мне обеспечено остаться в живых, — усмехнулся Воротынцев Харитонову, лёжа с ним рядом на животах, на одной шинели.

— Да? Почему? — серьезно верил и радовался веснушчатый мальчик.

— А мне в Маньчжурии старый китаец гадал.

— И что же? — впитывал Ярослав, влюбленно глядя на полковника.

— Нагадал, что на той войне меня не убьют, и на сколько бы войн ни пошёл — не убьют. А умру всё равно военной смертью, в шестьдесят девять лет. Для профессионального военного — разве не счастливое предсказание?

— Великолепное! И, подождите, в каком же это будет году?

— Да даже не выговоришь: в тысяча-девятьсот-сорок-пятом.

(55)

И персонажи, и читатели, естественно, сосредоточены на конкретной (весьма опасной) ситуации — в этом контексте предсказание китайца указывает на благополучный финал описываемого эпизода: герои предпочитают надеяться на лучшее (Воротынцев и рассказывает о гадании кроме прочего для того, чтобы ободрить юного офицера), а читатели, обладающие некоторым литературным опытом, справедливо полагают, что введение в текст ложного пророчества куда менее функционально (а потому и куда менее вероятно), чем появление предсказания истинного (и многопланового). Глава завершается рывком окруженцев, как выяснится — удачным. Читатель, впрочем, узнает о том, лишь миновав еще 25 глав, при описании встречи Воротынцева с великим князем Николаем Николаевичем; здесь мимоходом упомянуты вышедшие с Воротынцевым к своим Благодарёв и Харитонов (80). Разумеется, предсказание и применительно к грюнфлисской ситуации могло оказаться не столь счастливым. В живых мог остаться один Воротынцев, окруженцы могли попасть в плен^[4] (ни сохранения жизни спутников, ни невозможности пленения китаец не гарантировал!) — эти сюжетные альтернативы могут (и, пожалуй, должны) возникнуть в поле первочитательских ожиданий, но вряд ли окажутся там доминирующими. Именно потому, что одновременно с перспективой эпизода (и первого Узла) прорисовывается перспектива «большой истории» (и судьбы Воротынцева) — отнюдь не для героев, но для нас, воспринимающих 1945-й не как будущее, но как доподлинно известное прошлое.

Здесь-то в предсказании и проступают дополнительные — страшные — смыслы. Сегодняшний читатель может знать, что полковник Воротынцев появлялся в трагедии «Пленники» (1952–1953; первая публикация — 1980). Действие ее происходит 9 июля 1945 года в одной из контрразведок

СМЕРШ. В 11-й (предпоследней) картине чекист Рублёв сообщает 69-летнему Воротынцеву, что тот будет даже не расстрелян, а повешен, и предлагает ему спастись самоубийством (Воротынцев может выпить яд — вместе со смертельно больным Рублёвым). Полковник императорской армии отвергает предложение, рассказывает (как в 55-й главе «Августа Четырнадцатого») о давнем предсказании китайца и объясняет: «смерть от врага после войны — тоже военная смерть. Но — от врага. А — от себя? Некрасиво. Не военная. Вот именно трусость. И зачем же снимать с ваших рук хоть одно убийство? брать на себя? Нет, пусть будет и это — на вас!» Существенно, что ранее, перечисляя выпавшие на его долю «российские отступления» (самым страшным из которых стал уход белых из Крыма, оставление России), Воротынцев упоминает отступления мукденское и описанное в «Августе Четырнадцатого» найденбургское (картина 2-я).^[5]

Перекличка «Пленников» и «Августа Четырнадцатого» входит в авторские намерения (подробнее об этом будет сказано в Главе V), но и незнакомый с трагедией читатель поймет зловещую иронию «счастливого предсказания»: Воротынцев погибнет не на войне, но в победном 1945 году. Догадаться, почему и как это случится, совсем нетрудно: мысль о развязке в духе «Пленников» приходит сама собой. В принципе, читатель может выстроить другие — на мой взгляд, гораздо менее правдоподобные — гипотезы. Например, Воротынцев, не покинувший после Гражданской войны Россию, тихо доживает до немецкого вторжения, сражается на стороне Германии и по окончании войны попадает в СМЕРШ. Или, приняв — рано или поздно — сторону большевиков (как поступило не столь уж мало царских генералов и полковников), служит в Красной Армии, воюет до победы, а затем становится жертвой чекистов. Возможны и еще более фантастические версии. Но любые варианты судьбы героя (повторяю, куда менее вероятные, чем запечатленный в «Пленниках») не меняют сути дела. Гибель достойного русского офицера (а к 55-й главе «Августа...») читатель уже проникся огромной симпатией к Воротынцеву) сразу после победы его страны в Великой войне — не только личная трагедия (что не отменяет героизма — потому восторг Воротынцева и Харитоновы от «великолепного» пророчества разом и опровергается, и оправдывается автором), но и знак трагедии общероссийской. Страшная двусмысленность победы 1945 года (одновременно победы России и победы над Россией большевистской власти) — следствие тех

событий, что описаны в «Августе Четырнадцатого». Выигрыш героев, сумевших уйти из окружения, — выигрыш временный: миновать общей беды не удастся никому.

Разбираемый эпизод открывает, однако, наряду с «краткосрочной» (рамки Первого Узла) и «общей» (рамки замысленного и в итоге контурно намеченного повествования) перспективами и еще одну — так сказать, «среднесрочную». Это «личный» сюжет Воротынцева (болезненно, но крепко сцепленный с сюжетом его служения, а стало быть, и с общим — историей национальной катастрофы, которую полковник, как и прочие персонажи, не смог одолеть), развивающийся в пространстве четырех завершенных Узлов. Мысли Воротынцева о былой вине перед женой и намеком представленные надежды на светлое послевоенное будущее (их можно соотнести с проектами Романа Томчака о совместном с женой путешествии по ее «заветному маршруту» — 9) вводятся в текст после того, как мы узнали о наметившемся в семье полковника тихом разладе, который придал легкости его отъезду на войну (13), после вещего сна в Узду, в котором Воротынцев обретает свою будущую любовь («о н а! точно она! та самая невыразимо близкая, заменяющая весь женский мир!») и осознает жену «помехой» (25). Читателю (если он не забыл 13-ю и 25-ю главы!) дается сигнал: семейного счастья у Воротынцева не будет.

О том, что же будет в личной жизни полковника, «Август Четырнадцатого» умалчивает. Лишь в следующем Узле (О-16: 21–29) мы (вместе с героем) медленно распознаем в неведомой и безымянной женщине, которая приснилась Воротынцеву в Узду, Ольду Андозерскую, появляющуюся на страницах «Августа» лишь однажды и вовсе не в «воротынцевском» контексте (75).^[6]

Сходным образом в рамках «Августа» читатель не может осознать всю значимость скрещения лаженицынской и томчаковской линий в самом начале Узла. Проезжая мимо экономии, Саня замечает:

...на угловом резном балконе — явная фигурка женщины в белом, — в беспечном белом, нетрудовом.

Наверно, молодой. Наверно, прелестной.

И закрылось опять тополями. И не увидеть её никогда.

(2)

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru